

Иван Алексеевич
БУНИН
1870 – 1953

Иван
БУНИН

Окаянные дни



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос.-Рус)1+6
Б 91

Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Татьяны Павловой

ISBN 978-5-389-24844-1

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“, 2024
Издательство Азбука®

РЕВОЛЮЦИЯ ПО ИВАНУ БУНИНУ

Есть нечто общее между описанием революции в «Окаянных днях» и ее отражением в «Двенадцати» Александра Блока — поэта, которого Бунин искренне ненавидел. И перед Блоком, и перед Буниным революция предстала прежде всего как хаотичный водоворот — лиц, положений, криков, агиток, жалоб, слухов, умолчаний, покаяний, разоблачений, — водоворот, захлестнувший человека, вовлекший его, вопреки желанию, в пучину хаоса и душевной смуты. Из этого хаоса ему уже суждено было выйти иным: обновленным — по Блоку, умудренным — по Бунину, но одинаково непохожим на «человека ветхого». Пестрота художественных приемов «Окаянных дней» и «Двенадцати» очень хорошо выявляет эту хаотичность: романс сменяется частушкой, революционный марш — элегией, «сухая» цитата из газет — беллетризованными «живыми картинками», публицистическая статья — философскими раздумьями. В этой стилевой разногласии и отразилась своеобразная «разорванность» существования человека в революции: потеря им прежних ориентиров, крушение старых идеалов и обретение идеалов новых, отказ от мира и интерес к миру. Человек ищет, но его путь труден и неизведан, человек объят прошлым, но думает о будущем, человек борется, но борьба — это познание, а «кто умножает познание, тот умножает скорбь». В этой паутине

сомнений и раздумий, ежедневно менявшихся настроений, в напластованиях разноречивых мыслей и чувств и начиналась новая жизнь, представшая перед Блоком и Буниним.

Стало обычным говорить о беспристрастности, «полифоничности» Блока, призывавшего «слушать музыку революции», и пристрастности Бунина, революцию проклявшего. Бунин и сам признавал, что не мог остаться сторонним наблюдателем, но он и оправдывал себя. «„Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно...“ Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша „беспристрастность“ будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна „страсть“ только „революционного народа“? А мы-то что ж, не люди, что ли», — читаем в записи 20 февраля 1918 г. Пристрастность очевидца — тоже особый художественный прием, не менее важный, чем нарочитая беспристрастность нейтрального регистратора происшествий. Ненавидящий видит яснее любящего — не случайно на эту мысль обратил внимание в своем дневнике Бунин. Нам по-особому передается тревога революции, жестокость ее проявлений, отчаяние ее жертв, непримиримость ее участников — то, что было так заглушено шумом литавр в революционных одах. Оценки и исторические экскурсы Бунина удивляют своей упрощенностью и в чем-то даже примитивностью — достаточно только услышать, что он говорит о причинах Февральской революции. Но так ему легче выразить свои чувства, облечь их в сентенции и афоризмы, высказать протест — а разве протест совместим с многословием оправдывающих себя и других, и правых и виноватых, всепрощающим, подробным исследованием истоков революции. Бунин стремится как можно точнее

передать не столько свои наблюдения, сколько свои ощущения. Он кричит, а для крика непривычна рассуждающая многословность, крик — краток и громок. Бунин не историк революции, он ее жертва, но он и ее пророк, он «отчасти знает и отчасти пророчесствует». И в этом пророчестве есть нечто сближавшее его с Достоевским. «„Да!“ — сказала она с мукой! „Нет!“ — возразил он с содроганием...» — так иронично Бунин определял, по воспоминаниям Г. Адамовича, основную формулу творчества Достоевского. Но разве не повторен этот надрыв, пусть и по-другому, во многих строках «Окаянных дней».

«Окаянные дни» — очень своеобразный литературный памятник. Его особенности ярче проявляются при сравнении с другими дневниками, которые оставил нам Бунин, и прежде всего с дневниковыми записями 1917—1918 гг. Последние обращают на себя внимание сжатостью, конспективностью, большей интимностью — это именно личные заметки, не предназначенные для публикации. Революции посвящены многие страницы Дневника 1917—1918 гг., но автор здесь не аналитик, как в «Окаянных днях», он лишь регистратор событий, хотя и весьма субъективный. Текст очень краток, в нем многое недоговаривается, многое оборвано на полуслове, часто отмечается то, что понятно лишь автору. В отличие от «Окаянных дней», автор Дневника 1917—1918 гг. почти не вглядывается в себя, не исследует себя, он замкнут, отъединен от читателя. Импрессионистичность описаний, присущая и «Окайным дням», в Дневнике 1917—1918 гг. проявляется наиболее выпукло и обнаженно. Сложный мир человеческих страстей, политических и бытовых распрей, волнующий мир природы — все отражено фрагментарно, все, словно прожектором, лишь частично выхвачено из темноты и высвечено — то ли

случайно, то ли нарочито. «На мужицких гумнах молотба, новая солома возле тока, красный платок на бабе...» — здесь запись обрывается, и кажется, что это своеобразный чувственный код автора, известный только ему самому.

В Дневнике 1917—1918 гг. особо обращает на себя внимание описание природы. Оно столь пластично, ярко, многоцветно, что возникает ощущение, будто это черновик будущей повести: «Клены по нашему садовому... необыкновенные. — Сказочный — желтый, прозрачные купы. Ели темнеют — выделились. Зелень непожелтевшая посерела, тоже отделяется. Вал весь засыпан желтой листвой, грязь на дороге — тоже. Ночью позавчера поразила аллея, светлая по-весеннему сверху — удивительно раскрыта. Вообще — листопад, этот желтый мир непередаваем. Живешь в желтом свете», «Все, весь лес необыкновенно сух, шуршит, и непередаваемо прекрасный запах подожженных сушью, солнцем листьев. Блеклая трава засыпана листвой, дубовая листва коричневая на опушке — дубы все шуршат, все бронзово-коричневые». Некоторые дневниковые записи 1917—1918 гг. и являются преимущественно описанием различных ипостасей природы, в которые, словно для связности текста, изредка включается и рассказ о бытовых происшествиях.

Структура и содержание «Окаянных дней» намного сложнее и необычнее дневниковых записей 1917—1918 гг. Это и политический памфлет, и философское сочинение, и собрание цитат, и импрессионистичные «живые картины», зачастую без комментариев автора, и читательский дневник, и запись слухов, и отклик на политические события и житейские поступки. Хаотичность составных частей «Окаянных дней», однако, во многом кажущаяся. Цитаты подтверждают непосредственные впечатления автора, слухи упрочивают их,

прочитанные книги укрепляют его антиреволюционный настрой, «живые картины» — яркая иллюстрация к прочитанному и обдуманному. Словно незримой нитью, все части «Окаянных дней» связаны между собой и подчинены одной цели — выразить протест против революции. Политика пропитывает все дневниковые «московские» и «одесские» записи 1918—1919 г. Даже когда политические рассуждения прерываются какой-либо «живой картиной», явно не связанной с предыдущим текстом, то вывод, «мораль» таких полубеллетризованных описаний вновь возвращает нас к антиреволюционным филиппикам автора — хотя и не всегда прямо, зачастую через подтекст: «Наиболее верным „коммунистам“ раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вин, однако, осталось, по слухам, мало, почти все выпили матросы (которым особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель). А ведь до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за *Мартель*». Даже в коротких, импрессионистичных записях наблюдений, не связанных напрямую с политикой, все равно ощутима скрытая политизация текста. «Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им — красота и радость. Особенно была хороша одна — прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?» — здесь тревога рассказчика имеет столь же политический оттенок, как и негодование при описании другой «бытовой» сцены: «...Молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил: „Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими“».

Разумеется, и выступая как политик, Бунин продолжает оставаться художником. Его политическое кредо часто выражено через образ — и потому нередко так убедительно и бесспорно. Типичный художественный прием Бунина — передача прямой речи, позволяющая, даже при отсутствии авторских ремарок, ярко и пластично рассказать об облике современников тех лет. Возможно, в чем-то эти речи стилизованы — уж очень они красочны, «цитатны», как сказал бы О. Мандельштам. Но не упустим из виду и другое: именно в революционные годы отчетливо проявились сумбур полуграмотной низовой речи, комичность словоупотребления, смешение политических клише и общедоступных народных выражений, — Бунину не нужно было ничего приписывать, сочинять или приукрашивать. Для художника Бунина, так строго относившегося к слову, выглядит естественным каждодневное наблюдение за неправильной речью. Это такой же компонент его революционного существования, как и поиски хлеба, прогулки по лесу, споры с колеблющимися интеллигентами. В «Окаянных днях» отчетливо виден весь спектр его оценок нового, непривычного языка: частое отрицание, обычная ирония, редкое одобрение. В дневниках заметен и его интерес к необычному слову и любованию им. Меткое слово повторяется автором и для подтверждения своих мыслей, хотя не только лишь интерес к чужой речи характеризует палитру художественных средств писателя. Они разнообразны. Диалоги и монологи в «Окаянных днях» по сравнению с Дневником 1917—1918 гг. более развернуты и драматичны, описание более живописно и напрямую обращено к читателю. Но «Окаянные дни» — это прежде всего политический дневник. Бытовые зарисовки здесь обычно всегда сопровождаются политическими ремарками — иногда они

выглядят как импровизации, иногда отчеканиваются в длинные авторские отступления. Последние выявляют условность формы дневника. Видно, что он не просто фиксирует ежедневные наблюдения автора, но и является записью его политической рефлексии, включавшей раздумья не только о дне прожитом, но и обо всем революционном времени. В «Окаянных днях» очень мало столь характерных для дневниковых записей Бунина предыдущих и последующих лет описаний природы. Они вытеснены пересказами слухов, и, может быть, не случайно: слухи так же целебны для Бунина, как и другое лекарство — обращение к природе. Дневник Бунина — это царство слухов. Записи слухов начинаются уже в «московской» части «Окаянных дней» — тут и Блок, назначенный секретарем Луначарского, и свергнутый большевиками московский градоначальник, ставший одним из «главнейших тайных советников в „Совете рабочих депутатов“». Кажется, что слухи порой заслоняют автора, они нередко повторяются и противоречат друг другу, они часто вытесняют со страниц дневников наблюдателя-очевидца. Возникает ощущение, что слухи как-то незаметно уже подменяют собой реальность, вернее, сами становятся реальностью. Автор рассказывает о происшествиях, очевидцем которых никак не мог быть, без каких-либо оговорок, словно это случилось с ним самим, а не было передано ему через вторые или даже третьи руки. В слухах, отмеченных Буниным, прежде всего улавливаются две ноты: это произвол революции и ее грядущий крах. Слухи, рассказывающие об угрозах, грабежах, конфискации, унижениях, — одна из тех лабораторий, где выковывались антиреволюционные убеждения писателя. Они подтверждали его собственные наблюдения, упрочивали их, придавали им вескость, позволяли видеть в частном общее.

Но слухи имели и другую сторону. Они не только освещали, пусть и искаженно, лики настоящего, они отражали и те ожидания, которыми буквально поминутно жили люди революции — и не одни лишь «бывшие», но и рабочие и крестьяне. «Оптимистические» слухи о поражениях большевиков, их разложении, об успехах Деникина, о близости освобождения из «красного плена» — это то лекарство, которое помогало многим устоять в те трудные времена. Слухи занимают в Дневнике столь значительное место не только потому, что автор мало знает о происходящем вокруг, но и потому, что он и не хочет многого знать, он хочет знать только то, что желает знать. Никто, как пишет Бунин в своих дневниках, «не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, своего искажения к заведомо лживому слуху. *И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется...* Иначе, кажется, не выжил бы и недели». «Оптимистические» слухи — словно вторая, параллельная жизнь Бунина, жизнь, обещающая лучшее, жизнь, манящая надеждами. Без этой другой, «подпольной» жизни существование было бы неполно, бесцветно, мертво.

Может ли быть объективным свидетельство, основанное на слухах? Нет, скажем мы, — но здесь возникает другой вопрос: о чем мы хотим узнать — о чувствах человека, обожженного революцией, или о самой революции, событии столь сложном и многомерном, что о нем не смогут с исчерпывающей полнотой рассказать и сотни свидетелей? Чтобы почувствовать пульс революции, ощутить ее живую ткань, достаточно оценить и частный отклик человека, чуткого, тонкого, одаренного редкой впечатлительностью, интуицией, обладающего особым художественным видением, в котором причудливо сплелись «поэзия» и «правда».

Можно долго говорить о том, насколько соблюдено в «Окаянных днях» равновесие между «негативным» и «позитивным», и спорить о том, что такое дневник Бунина — сплошной обвинительный акт или стенограмма революции, пусть и искаженная, но все же отразившая проблески чужой «правды». Бунин ежедневно слышит рассуждения о том, что революция — действие сложное и всеохватывающее, что ее творцы — и победители, и жертвы, что надо признать наряду с «ложью» и «правду» революции, что в ней есть не только темное, но и светлое. И всему этому Бунин четко и безапелляционно говорит — нет! Бунин не хочет признать революцию, потому что главное, что он в ней видит, — это насилие, а насилию он подчиняться не будет. Бунин как-то интуитивно нащупывал связь между оправданием революции и ее эксцессами, считая именно такое оправдание карт-бланшем для насильников: «Надо еще *объяснять* то тому, то другому, почему я не пойду служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой... и просвещать насчет „последних достижений в инструментовке стиха“ какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками!.. Это ли не крайний ужас, что я должен *доказывать*, например, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хорям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят...» Здесь почти каждое утверждение сразу вызывает желание возразить: реалии всегда сложнее, обстоятельства запутаннее, связь между причиной и следствием зачастую и неявна, и необычна. Бунин спрямляет этапы, переходы, напластования, опосредования и показывает эту связь столь нереально обнаженной, что хочется воскликнуть — так не бывает! Но на другой чаше весов было то, что для Бунина дороже всего, — человеческая жизнь. Помогать —

значит продлевать дни того порядка, при котором можно грабить, унижать, уничтожать. И не имеет значения, кому помогать — доморощенному любителю стихов или палачу чрезвычайки, — виноваты все. Новый режим, как винтиками, держится малыми делами, незначительными поступками, безобидными увлечениями. Он держится низовым бытом и через быт цементируется, становится чем-то, с чем можно сжиться, что можно потерпеть. И человек, пытающийся выразить свой революционный восторг полуграмотными виршами, упрочивает этот аморальный для Бунина режим временами лучше, чем одиозный чекист. Попробуешь разглядеть «кристальную чистоту» в облике палачей, как это делает Волошин, — и уже признаешь олицетворяемый ими режим чем-то, что достойно существования, и, значит, оставишь лазейку для палачества, ставшего частицей этого режима, — вот мысль Бунина. Можно попенять Бунину на его пресловутую упрощенность; но ведь на другой чаше весов — жизнь. Можно упрекнуть писателя за его пристрастность, но прежде нужно знать, что он защищает жизнь и человеческое достоинство. Спасти эту жизнь, разглядеть вовремя, найти мельчайшие ростки того, что угрожает жизни, — главное, страстное, всепоглощающее желание Бунина, и надо ли упрекать его за то, что его поиск неразлучен с заблуждениями.

В описании тех, кого он ненавидел, Бунин не допускает каких-либо полутонов. «Вы тоже — жертвы века», — обмолвится позднее о революционерах Б. Пастернак, но для Бунина такой взгляд неприемлем. Как это ни парадоксально, Бунин зачастую демонстрирует ту же нетерпимость к чуждой ему культуре, бытовой и духовной, какую он обнаруживает в обличаемых им «красных». Бунин не желает допытываться причин неприязни низов к «бывшим», он не ищет истоков пере-

лома эпох. Для него разрушение — это только разрушение, но никак не созидание, хам — это не заблудший, который может со временем покаяться, но только хам, без каких-либо оговорок. Новый «хозяин земли русской», грубый и жестокий, — символ революции по Бунину, и зачем дробить его образ, выискивая в нем и светлое и темное, — он нужен писателю именно цельным, для того чтобы точнее высказать все, что накопело на сердце. Люди революции для Бунина — это обычно «похабная солдатня» и «отборные каторжники», и не хочет он даже приблизиться к ним, разглядеть за «каторжными» лицами отпечаток судьбы, личности, духовного мира революционеров. Те, кто призывает оценивать революцию во всей ее полноте, вызывают у него откровенную неприязнь. «„Блок слышит Россию и революцию, как ветер“. О словоблуды!.. Им все нипочем», «„Революция — стихия...“. Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются» — такими записями пестрит бунинский дневник.

Сумбур, присущий поступкам и речи людей из низов, принявших революцию, Бунина отталкивает сразу и бесповоротно. Он видит и удивляется, как в одном человеке могут уживаться стихийный большевизм и ненависть к «гольгтьбе», доверие к «барину», иногда пересказывает без комментариев его речи, считая их «очень странными вещами». Но он не делает даже попытки подробно рассмотреть этот мир хаоса и сумбура. Это не его мир, «смятение чувств» провозвестников новой жизни ему неинтересно и кажется чем-то исключительным. Разговоры о том, что революционеров нужно просвещать, несмотря на все их прегрешения, Бунин отвергает напрочь, ибо просвещающий тоже становится частью того мира, который мерзок и отвратителен.

В дневниках Бунина довольно редко можно найти мягкое, доброжелательное описание современников. Преобладают лица жесткие и грубые — и даже не лица, а «типы». Те, кому сочувствует писатель, — это обычно жертвы, и рассказ о них приобретает даже какой-то агиографический оттенок благостности. Главное чувство, которое они вызывают, — жалость и сострадание: «На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий...», «...встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала: — Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия...»

Отрицание революции выявляется на страницах дневника по-разному и не всегда прямо. «В вестибюле сидел какой-то полурабочий, к каждому слову „в обчем“ — вроде бы перед нами объективная, безоценочная запись. Но заметен оттенок иронии по отношению к говорящему: невнятица его речи и какая-то неуловимость облика («полурабочий») создают определенное негативное впечатление. Нередки прямые ругательства — «гадина», «негодяй», «каторжник», «зверь», «скот». Иногда они почти не мотивированы, но поскольку, как правило, либо предваряют, либо заключают описание какого-нибудь «революционного эпизода», то их происхождение прослеживается весьма отчетливо. Неграмотная речь, одиозные поступки — Бунин может пересказывать их и никак не откликаясь, не высказывая своего мнения. Но они и сами по себе красноречиво, без каких-либо авторских оценок могут определять настрой читателя. Нередко пристрастность автора выставлена нарочито: следует пересказ одного за другим газетных сообщений, показывающих только изнанку революции и сопровождаемых едкими и мет-

кими бунинскими репликами, выявлявшими исключительно ложь революции. Негативному взгляду Бунина свойственно какое-то особое постоянство. При упоминании им лиц и положений раз высказанные им оценки обязательно повторяются, даже если изменились и люди, и обстоятельства. Как часто Бунин клеймил газету «Новая жизнь», называя ее большевистской, и обличал писавшего в ней (и издававшего ее) М. Горького. Но содержание газеты изменилось, а бунинское проклятие осталось неизменным: «Купил „Новую жизнь“ несколько номеров. Сейчас читаю номер от 3-го. О негодяи! Как изменили тон! Громят большевиков». Революционеры отвратительны и потому, что они революционеры, и потому, что они отказываются от революции, которую сами вызвали, — бунинские оценки вызывающе прямолинейны, но для него здесь нет противоречий. Бунина в этом случае не интересует и не восхищает отказ от революции. Он подмечает лишь шатания тех, кто готовил переворот, а затем отрекся от него. Он видит не обстоятельства, а только лица, действующие применительно к обстоятельствам. Обстоятельства — это нечто не зависящее от человека, но поступки человека во многом принадлежат ему самому — и потому так суров приговор Бунина.

Отвращение к насилию, защита его жертв — ось бунинских дневников. Но так ли бескомпромиссно он обличает насилие и по другую сторону баррикад? На этот вопрос однозначных ответов нет. О «белом терроре» Бунин пишет мало, неохотно, иногда торопливо обрывая такие записи едва ли не на полуслове: «„Революции не делаются в белых перчатках...“ Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах». Он иронизирует по поводу газетных сообщений о «зверствах» белых, выискивая в них гиперболы и противоречия. Он многое недоговаривает,

ему явно неприятно касаться этой темы. Его рассуждениям здесь свойственна какая-то сдержанность, не исключаяющая в чем-то и сочувствия: «Народу, революции все прощается, — „все это только эксцессы“. А у белых, у которых все отнято, поругано... — родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры, — „эксцессов“, конечно, быть не должно». Ему не хочется доводить до логического конца свои раздумья о том, почему неизбежен такой террор, ибо это логическое заключение может быть только одно: оправдание насилия. Но и ставить на одну доску красный и белый террор он не желает. О бесчинствах красных он говорит много и громко, о репрессиях белых — вскользь и мимоходом. Он, конечно, не одобряет «эксцессы» белых, но все же находит им извинения; поступкам красных он не допускает никаких оправданий. И не случайно говорится в дневнике о мести за перенесенные обиды — эти записи оказываются наиболее эмоциональными, впечатляющими по накалу чувств. Но и в желании мщения, в пристрастности приговоров, в безоглядной ненависти есть нечто такое, что Бунин никогда не переступит, и такое, от чего он никогда не откажется. Поэтому призывы к мести у него столь редки, абстрактны, потому и не хочет он делать конечных выводов, говоря о терроре белых, — зная, к чему это может привести. С каким возмущением он описывает погромы и не желает выяснять, на чьей стороне были их жертвы, какие идеи защищали виновники погромов и можно ли это оправдывать как ответ за репрессии с другой стороны.

Почему так ненавидел революцию Бунин? Нищета, грубость, безграмотность, анархия, бескультурность, жадность, зависть, ложь — вот плоды революции, на которые прежде всего обращает внимание писатель. Особо отмечено лицемерие «красных», на-

рочито выпуклое на фоне их демократической риторики, — описаниями бесчестности, взяточничества, грабежа. И прежде всего, что отвращает Бунина от революции, — это ее хаос, в котором перемешаны и девальвированы все основные человеческие ценности, который делает непрочным и самое существование человека. Все, что выходит за рамки привычных, устоявшихся норм цивилизации, представляется Бунину абсолютным грехом. Бунин — человек порядка, «лада», он классик, а не мятущийся романтик. Он ценит упорядоченность, красоту, пропорциональность — в лицах, поступках, в речи и письме, — поэтому и восторг от его описаний природы не экстазом, а умиротворенностью. Все, что не укладывается в этот порядок, нарушает гармонию — изломанный Бальмонт, кричащий Маяковский, экстазная Цветаева, танцующий Белый, ругающийся комиссар, революция, облавы, лживые газеты, запутавшийся Горький, — сразу вызывает у Бунина тотальное отторжение.

В Дневнике 1917—1918 г. уже отчетливо видна генеалогия бунинской антиреволюционности — от мелких обид и стычек до безоглядной, нарастающей неприязни ко всему, что имеет отпечаток нового режима. Послефевральская анархия 1917 г. стала началом психологического надлома Бунина, не чуждого в молодости и народопоклонничества, и либеральных увлечений: газеты читаются «прыгающими руками», описание современников все чаще срывается в крик, есть какое-то предчувствие обморока, мерзость почти физически ощутима. «Лето семнадцатого года помню как начало какой-то тяжелой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще ждешь в горячем напряжении всех последних... сил», — писал позднее

Бунин И.

Б 91 Окаянные дни : дневник, статьи, письма / Иван Бунин ; предисл., ком. С. Ярова. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 320 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-24844-1

В течение почти всей своей жизни знаменитый русский писатель Иван Алексеевич Бунин вел дневники. Он считал, что «дневник одна из самых прекрасных литературных форм. Думаю, что в недалеком будущем эта форма вытеснит все прочие». Особую известность получили записи писателя о революционных событиях, впервые опубликованные в 1926 году под названием «Окаянные дни».

Революция как хаотичный водоворот лиц, положений, криков, агиток, жалоб, слухов, умолчаний, покаяний, разоблачений. Обличающий и проклинающий, желчный и горький текст Бунина — одно из самых откровенных и нелюбимых описаний роковых в жизни России событий.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)1+6

Литературно-художественное издание / Эфеби-көркем басылым

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН
ОКАЯННЫЕ ДНИ

Ответственный редактор Елена Адаменко
Художественный редактор Татьяна Павлова
Технический редактор Мария Антипова

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 11.01.2024.
Формат издания 76 × 100 ¹/₃₂. Печать офсетная. Тираж 4 000 экз.
Усл. печ. л. 14,1. Заказ №

Изаготовитель: ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» — обладатель товарного знака АЗБУКА®, 115093, Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. Партийный, д. 1, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19, E-mail: sales@atticus-group.ru	Өндiрушi: «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» ЖШҚ — АЗБУКА® тауар белгiсiнiң иесi, 115093, Мәскеу, к. iш. аум. Даниловский муниципалдық округi, Партийный т.ш., 1-үй, к. 25 Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19, E-mail: sales@atticus-group.ru
Филиал ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» в г. Санкт-Петербурге, 191123, Санкт-Петербург, Воскресенская набережная, д. 12, лит. А, Тел. (812) 327-04-55, E-mail: trade@azbooka.spb.ru	Санкт-Петербург к. «Издательская Группа «Азбука-Аттикус» ЖШҚ филиалы, 191123, Санкт-Петербург, Воскресенская жағалауы, 12-үй, А лит., Тел. (812) 327-04-55, E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru Отпечатано в России.	www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестiгiн растау туралы мәліметтердi мына адрес бойынша алуға болады: <http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгiсi
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ федералдық заң)



A-AKB-33828-01-R